Статьи. Теория

Тимур М. Атнашев
РАНХиГС, Москва, Россия

Утопический консерватизм в эпоху поздней перестройки: отпуская вожжи истории

Статья посвящена исследованию «консервативного поворота» в публичных дебатах во второй половине перестройки в 1989–1991 гг. — периоде, который многие историки и комментаторы характеризовали как революционный. На материалах ведущих толстых журналов и журнала «Коммунист» мы показываем, что в этот момент набор очень сходных историософских и политических аргументов, которые можно отнести к консервативной идеологии, сформировался в конкурирующих между собой идеологических группах, включая сторонников рынка, гуманного социализма и русских националистов. Выделено несколько устойчивых и частично взаимозаменяемых идиом, широко используемых разными авторами для обоснования консервативных и антиреволюционных аргументов, заимствованных как из советского марксистского языка, так и из критики советского опыта Александром Солженицыным. Мы обсуждаем также своеобразие «консервативного поворота» в позднем СССР, сочетающего критику политически мотивированного насилия и идеологической мобилизации с утопическим по характеру предположением о благотворном характере естественного хода истории, очищенного от идеологии, насилия и политического проектирования. Консервативные аргументы ведущих авторов перестройки не основываются на их реальном социальном опыте, который был бы достоен сохранения, и отсылают к гипотетической естественно-исторической утопии. В этом смысле перестроечный кон-

Атнашев Тимур Михайлович — PhD, старший научный сотрудник Центра публичной политики ИОН РАНХиГС. Научные интересы: интеллектуальная история, история Перестройки, политическая философия, Кембриджская школа, меритократия и гражданская служба. E-mail: Atnashev-ta@ranepa.ru, timur.atnashev@gmail.com
Timour M. Atnashev — PhD, Senior researcher, Center for Public Policy SPP RANEPA. Research interests: intellectual history, history of Perestroika, political philosophy, Cambridge school, meritocracy and civil service. E-mail: Atnashev-ta@ranepa.ru, timur.atnashev@gmail.com

Социология власти
Том 29
№ 2 (2017)

сервативный поворот отличается от классического наследия Эдмунда Бёрка, апеллировавшего к актуальной для большинства его читателей британской традиции и практикам прецедентного права.

Ключевые слова: перестройка, философия истории, консервативный поворот, утопический консерватизм, политические языки и идеологии, А. Солженицын, А. Яковлев, М. Гетфер

Timur M. Atnashev, RANEPA, Moscow, Russia
Utopian Conservatism during the late Perestroika: loosening the Reins of History

This paper is exploring the theme of "conservative turn" in the public debates of the second half of perestroika (1989-1991), while this very period was often described as revolutionary. Based on the analysis of the leading "thick" journals and official review ***Kommunist,*** we are showing that a set of very similar historiosophical and political arguments, which could be reasonably described as conservative, was forming in the ideologically competing groups, including liberal supports of the market economy, humanist socialists and Russian nationalists. We identify several stable and interchangeable idioms, widely used by different authors to articulate conservative and anti-revolutionary arguments, drawn from late Soviet Marxism and from the reception of the classical conservative tradition through the work of Alexander Soljenitsin. We discuss the specificity of the "conservative turn" in the late USSR, which have combined the critique of the revolutionary ideology going against the human nature with a utopian assumption in the wholesomeness of history — purified from ideology, violence and political projects. During this period, hundreds of voices articulating conservative arguments do not refer to the actual social experience and practices worth to be preserved and defended, but to a utopian "natural-historical" flow. In this respect, perestroika's conservative turn differs significantly from the heritage of Edmund Burke who appealed to the tangible British tradition and common-Law.

Keywords: Perestroika, philosophy of history, conservative turn, utopian conservatism, political idioms, A. Solzhenitsyn, A. Yakovlev, M. Gefter

doi: 10.22394/2074-0492-2017-2-12-52

Горбачев и его интеллектуальная команда активно использовали метафоры революции начиная с конца 1986 г. Ретроспективно многие ведущие исследователи убедительно характеризуют этот период как революцию, хотя и по-разному оценивают ее характер [Стародубровская, Мау, 2001; Магун, 2010]. Самым удивительным в интеллектуальной истории этого периода оказывается мощный консервативный поворот, который не получится описать в терминах «реакции» старых элит. Консерватизм поздней перестройки действительно сочетал в себе консервативные историософские ар-

гументы[1], содержательно близкие аргументам Эдмунда Бёрка, о чем убедительно пишет Артемий Магун[2], с поразительно наивной верой в исторический процесс, которую не демонстрировали и самые оптимистические классики Просвещения. Критические тезисы Магуна о необходимости смягчения «темы российской (негативной) исключительности» и о необходимости учитывать сравнительный мировой контекст представляются ценными и продуктивными. Однако прямая проекция классических либеральных и консервативных идеологий «развитого капитализма» на только осмысляющее себя и еще не «классовое» позднесоветское общество, где представления о рынке, собственности и капитализме были чисто умозрительными, кажется методологически недостаточно обоснованной. Даже самый глубокий публицист перестройки по своему статусу и происхождению не мог «представлять интересы буржуазии», а смысл его действий и высказываний, включая, например, знаменитый короткий манифест Л. Пи-

1 В данном тексте под терминами «историософский», «историософия» и «философия истории» мы понимаем общий способ рассмотрения истории в широком смысле (а также политических процессов) как подчиненных единой логике исторического развития на уровне страны и/или в мировом масштабе. Природа предполагаемой историософским подходом единой логики истории может быть различной: провидение или божественный замысел, научные закономерности исторических формаций, мировая система или геополитические факторы.

2 Артемий Магун [2010] дает генеалогию и одновременно последовательную идеологическую критику устойчивого сочетания «либерализма» и «консерватизма» в России 2000-х, справедливо указывая на период перестройки как на незамеченный ранее источник возникновения этой консервативной идеологии. При этом представляется, что интерпретация самого консервативного поворота, предложенная Магуном, не уделяет достаточного внимания идеологическому плюрализму и разнообразию «консервативных» аргументов и идиом и собственно специфике контексту его генезиса в СССР и современной России. В этом смысле неточным представляется типологическое (и тем более генетическое) возведение «либерального консерватизма» перестройки и России 2000-х к политической философии Эдмунда Бёрка. Консервативный поворот в Перестройку был тесно связан с историософскими идиомами и аргументами позднесоветского марксизма (отсылающего не только к «объективистскому пониманию природы, характерному для естественнонаучного понимания социальной науки», но и к раннему Марксу), отмеченными влиянием философии А. Солженицина, а также с более общей критической рефлексией над подразумеваемой двойной неудачей — историей СССР и первых 5 лет перестройки. В этой комбинации только Солженицын представляет своеобразное прочтение классических консервативных аргументов, а влияние позднесоветского марксизма и осмысление собственного перестроечного опыта представляются принципиально новыми и уникальными для «консервативного поворота» перестройки.

яшевой в защиту рынка, должен быть интерпретирован с учетом этой невозможности[1]. Мы предлагаем интерпретировать позднесоветские высказывания в жанре политической философии не в терминах западных идеологических процессов и матриц (в свою очередь национально окрашенных и подвижных), а в терминах собственно перестроечного интеллектуального контекста.

Как мы постараемся показать, наиболее удивительным аспектом и вместе с тем фундаментом перестроечного консервативного поворота, наметившегося около 1989 г., было предположение, что история идет по оптимальному сценарию при условии, что люди не используют насилие и идеологические схемы для воздействия на ее ход. Как проницательно указывает Иохаим Звейнерт [Zweynert, 2006], позднесоветский репертуар в дискуссиях экономистов подразумевал, что история сама по себе ведет к благополучию и процветанию[2]. Звейнерт сделал акцент на быструю трансформацию экономического марксизма во внешне либеральную рыночную доктрину с сохранением телеологического «ядра» — убеждения в том, что история гарантирует благополучный исход. Оптимистическое убеждение в естественной благотворности исторического процесса разделялось не только экономистами, но гораздо более широким кругом публичных интеллектуалов перестройки.

Мы попробуем кратко описать основные положения этой общей парадигмы, а также проследить ее генезис внутри различных идеологических течений. Согласно этому историософскому подходу, преднамеренное и активное политическое действие не может и *не должно* намеренно направлять историю. Напротив, оно должно следовать ее естественному историческому ходу (более «западническая» идиома позднесоветского марксизма) или процессу органической эволюции (идиома, чаще используемая авторами патриотической направленности). На последнем этапе перестрой-

1 В лучшем случае перестроечные публицисты могли «воображать» и только в этом смысле «представлять» интересы будущей буржуазии. Мы не можем принимать так «воображаемые» интересы за их представительство, классовое сознание или другую форму выражения группового или классового интереса.

2 «Согласно этой теории, интерпретация история как пути к благополучному обществу может быть рассмотрено как ядро Советской идеологической программы... В последние годы СССР ядро идеологии — предполагавшее, что страна находится на священной дороге к благополучному и целостному обществу— было заменено убеждением, что на самом деле раньше оно двигалось в тупик [и теперь снова на верном пути к либеральному рынку]. Что не изменилось, однако, это само представление об истории как целенаправленном и благополучном процессе» *(Перевод с английского наш — Т.А.)*. [Zweynert, 2006, с.177,.191-192]

ки размышления о соотношении между политическим действием и историософией привели многих интеллектуалов к мысли, что человеческой воле и политикам следует позволить истории развиваться самостоятельно. Таким образом, классическая марксистская предпосылка, согласно которой умозаключения о смысле и природе мировой истории должны использоваться как руководство к политическому действию, приняла парадоксальную форму самоотрицания политической и исторической воли. Несмотря на такую новую форму, историософия оставалась наиболее развитым направлением политической мысли. «Мировая история» и ее «закономерное» развитие оставались авторитетным и убедительным способом обоснования, одобрения или осуждения политических действий, а, следовательно, и представления социальной реальности, доступных обществу в лице читающей публики. Однако смысл мировых законов истории в восприятии читающей публики существенно изменился, а размышления об особенностях национального исторического пути и месте СССР и России в мире стали существенно более важными и даже центральными предметами для публичного осмысления.

Момент анти-Макиавелли: отказ от субъектности в истории

В годы перестройки не было более влиятельной и развитой интеллектуальной традиции в области публичной политической философии, чем историософия [Атнашев, 2017]. Однако к 1990 г. стало ясно, что этот историософский характер политической мысли имел ограниченную связь с реальностью: и революции прошлого, и современные реформы, основанные на историософском знании, потерпели сокрушительную неудачу. Знание катастроф и упущенных возможностей прошлого в свете новых неудач в ходе перестройки учило внимательного историка-публициста и умного читателя толстых журналов тому, что намеренное политическое действие и его исторические последствия находятся в трагическом и устойчивом несоответствии. Наблюдаемый невооруженным глазом распад советского государства и стихийная приватизация государственного имущества в 1989–1991-х годах, последовавшие за намерением нового советского лидера построить демократический и эффективный социализм в СССР, сформировали новую историософию, которую можно с помощью классической метафоры Покока [Pocock, 1975, p. 3–49] обозначить как *момент анти-Макиавелли*. Вместо идеала доблестного республиканского противостояния граждан разрушительной силе времени, описанного Пококом в период Раннего Нового времени, в частности у Макиавелли, добродетель поздней

перестройки, напротив, заключалась в отказе от намерения воздействовать на ход истории. История для перестроечного автора была трагичной в силу излишнего вмешательства в нее людей и политических доктрин, тогда как ее естественный ход был по умолчанию благотворным.

Размышляя о неспособности революций и позднейших реформ принести обещанную справедливость, процветание, достоинство, самореализацию и, конечно, свободу, интеллектуалы перестройки перестали полагаться на свободную человеческую или общественную волю выбирать правильный путь, что было наиболее влиятельной позицией в 1988 году [Атнашев, 2017]. В течение одного года, большинство авторов толстых журналов неожиданно признали слабость общественной воли и превосходство исторической необходимости, истолкованной как *естественно-историческая*. Диалектика свободы воли и исторической необходимости осталась в центре внимания вместе с ключевыми идиомами выбора, пути и альтернатив, но приобрела новое решение — свободная воля политического действия может влиять на историю, но не может воздействовать на нее благотворно. В моральном смысле диалектика упростилась до четкого императива: свободная воля людей должна подчиниться исторической необходимости ради собственного блага. В некотором смысле было заново найдено оригинальное решение парадокса Баруха Спинозы: свобода является осознанным растворением воли в причинно-следственной цепи, представленной естественным течением исторической необходимости. Мы рассмотрим эволюцию характерных идиом эпохи перестройки и переход к «анти-политическому» видению истории — момент анти-Макиавелли, а также связанное с ним распространение новых идиом: «естественно-историческое» и «цивилизация».

Новому нормативному главенству естественно-исторического течения способствовала парная ей нравственная концепция императива ненасилия, отрицающая не только незаконное, но и законное применение силы государством. Эти две нормативные идеи определили конечный этап советской политической теории, образовавшей из гуманистических, консервативных, либеральных, анархистских, националистических и социалистических течений уникальную композицию, которую мы попытаемся охарактеризовать. Естественно-историческая, или органическая, эволюция была противопоставлена обманным мобилизующим целям, теоретическому спекулированию и физическому насилию. В этом смысле данный этап политической теории перестройки можно охарактеризовать как намеренно аполитичный. Человечеству следует позволить истории развиваться, оставить великие проекты и отказаться от коллективной претензии на истину: позволить истории разви-

ваться естественным путем означает конец политического действия. Должно было остаться только одно осознанное политическое действие, не позволяющее людям навязывать свою волю и видение другим и естественному ходу истории. Фактически это, несомненно, являлось политической идеологией, предполагавшей активную политическую роль, хотя и очень ограниченную.

Сумма идеологий: естественно-исторический процесс и императив ненасилия

Ставшая внезапно актуальной марксистская идиома «естественно-исторический» и сформулированный в сотнях статей самых известных публицистов этого периода императив ненасилия выразили стремительное и глубокое разочарование в способности человека выбирать альтернативы более верно и преобразовывать общество более мудро, чем естественный ход событий. Одной общей характерной чертой политической мысли поздней перестройки стал упор на самоорганизующийся ход истории в противоположность любым институциональным и идеологическим формам регулирования, революционных изменений или преобразований. Этот явный антиполитический пафос возобладал над основными идеологическими противоречиями. Однако он и не примирил, но фундаментально нейтрализовал идеологических оппонентов в осознанной и преднамеренной этике исторического бездействия (недеяния). В отличие от классических революционных периодов политическая мысль перестройки не приветствовала насилие, единство действия, мобилизацию сил или даже политическое действие вообще. Этот фон, очевидно, не был в состоянии остановить революционный каскад политических и идеологических перемен в 1991 г., но он способствовал некоторым из самых удивительных аспектов последней фазы перестройки, блокируя эскалацию ненависти и подрывая групповую и классовую солидарность. Распад крупнейшей империи, произошедший без последующей волны идеологически мотивированного и организованного революционного насилия, может быть связан именно с этим моментом в позднесоветской интеллектуальной истории.

Итак, сомнение в способности осознанно влиять на исторический процесс стало следствием публичного и коллективного размышления о двойном крахе: крахе гуманистических надежд Октябрьской революции и крахе современных попыток реформировать советский государственный социализм и его мировую систему. К этим двум главным темам постепенно добавлялись структурно сходные и напряженные размышления о других неудачах, авторы которых могли занимать прямо антисоциалистические позиции. Более того,

индивидуальная и групповая идеологическая эволюция, в ходе которой переосмыслялись ключевые события, ценности и предполагаемые закономерности истории, укрепляли мыслителей в общем подспудном выводе — трагическая ирония русской истории сильнее идеологии.

Послереволюционное кровавое насилие большевиков и неудачи политики перестройки были приписаны изначально ошибочному стремлению к *прямому господству* и вмешательству в целостность естественной истории. Указания на «цивилизованный мир» и на «всемирно-исторический» контекст образовали позитивную философию истории, в которой самоорганизующийся исторический процесс может естественным образом привести к свободе, справедливости и процветанию. Таким образом, политическая мысль обрела историософские и нравственные основания, чтобы принципиально отрицать любой идеологически мотивированный политический проект. Зарождающаяся политическая теория пришла к выводу, что осмысленное политическое действие не имеет никаких онтологических и историософских оснований, кроме как позволить истории развиваться. Это можно было бы описать как неолиберальный или же как консервативный взгляд на роль государства в жизни общества, если бы он был основан на правовой, прецедентной или институциональной аргументации, сложившейся политической традиции или группы. Но он не являлся таковым. Эту позицию можно назвать анархистской, если бы она полагалась на самоуправляемые объединения (или если бы она предполагала отказ от законного применения силы, если не последующий хаос).

Публицисты перестройки не обсуждали конкретные политические институты, которые подходили бы для решения актуальных проблем. Институциональные вопросы обсуждались в терминах выбора из нескольких путей. Выбор правильного пути воспринимался как верное комплексное решение, внутри которого не требовалось бы согласовывать интересы, противоречия между группами или находить конкретные институциональные решения. Правильно выбранный естественно-исторический путь давал гарантию благополучного исхода в будущем — до следующей попытки своевольного вмешательства.

Итак, в 1988 г. социальное устройство считалось вопросом исторического выбора, который обществу следует сделать правильно, и Перестройка представлялась как раз таким правильным выбором. Но уже в 1990 г. правильное общественное устройство стало рассматриваться как естественно-исторический продукт эволюции, гарантирующий становление цивилизации, если люди прекратят навязывать свое видение общества истории и соотечественникам. Благополучный и наглядный образ современного «цивилизован-

ного мира» умалчивал о роли сложных институтов, права, добродетели, постоянной борьбы интересов, революционного насилия и гражданских войн, колонизаций, религий и религиозных войн, противоречивых идеологий и столетий, сформировавших современные перестройке западноевропейские общества. Историософский образ *естественно-исторической* западной цивилизации создал ощущение доступности и хорошего понимания сложных институтов, на которых основано общество цивилизованного мира.

Историософский взгляд позволял резкую критику сложившихся в СССР социальных и политических институтов и ценностей, но не допускал сознательное обсуждение конкретных институциональных вопросов, которые были предметом западной мысли о непростых отношениях между государством, властью и собственниками, о надлежащем политическом представительстве, опасностях коммерческого общества и склонности человека к коррупции[1]. В чем же функция публичной политической полемики внутри такой картины мира? Политическая полемика и осмысление исторического опыта должны помочь снизить риски идеологически мотивированных революционной ломки или политического насилия, которые заведомо опасны независимо от содержания доктрины.

Дискуссии эпохи перестройки вращались вокруг нового видения мировой истории, места СССР в ней и направления, которое будет естественным образом принято после определения историософских эталонов. Такой историософский подход был во многом реалистичен, если истолковать его как оценку текущей неспособности общества регулировать себя с помощью правил и законов; он свидетельствовал о локальной утрате самопонимания и пониженной способности к саморегулированию, в то время как его роль в качестве *универсальной* общемировой константы в политике и истории скорее возросла. Такое мышление помогало пережить и принять драматическую ситуацию 1989–1991-х и последующих годов, избежав идеологической подпитки и возгонки организованного насилия между конкурирующими за власть лидерами и группами. Мы попытаемся рассмотреть поворот в позднеперестроечном мышлении в сторону

1 Иными словами, данный историософский язык и его аргументация скрывали многие реальные проблемы, существовавшие в Западной Европе, США или Японии, оказывая на советскую публику успокаивающее действие перед лицом текущих и будущих перемен. История знает лучше нас, и общество может свободно и разумно выбрать оптимальный и благополучный путь развития, если двигаться в согласии с внутренней логикой истории. Неприятности открытой политической борьбы между группами и лидерами, а также трудности нахождения конкретных политических или институциональных решений как бы снимаются.

видения естественно-исторической или органической эволюции как новую политическую философию, открыто отвергающую все формы и идеологии насилия и невольно отрицающую смысл общественной политики и планы широкомасштабных реформ.

Самой удивительной особенностью растущего внимания к противоречию между естественно-исторической эволюцией и насильственной догматической экспериментальной революцией было его одновременное проявление в трех основных идеологических направлениях перестройки примерно в 1989 г. Конкретное выражение, идиомы этого коренного противопоставления и используемые аргументы зависели от идеологической базы каждого из направлений. Несмотря на разницу в словаре и ценностях, главная идея и, что особенно важно, политические максимы, подразумеваемые этой новой историософской нормой, были близки. Сложно проследить интеллектуальные истоки этой нормы, возвышающей *естественное* над *намеренным*. Базовый историософский сдвиг можно обнаружить, но не проследить, в трудах Гердера, Бурке, Маркса, Ленина, Альтюссера или Солженицына: у некоторых он был главной идеей, а у некоторых — предполагаемым побочным эффектом. Разнообразие источников не должно укрыть от внимания общую черту — акцент на органические, естественные, постепенные или поэтапные социальные перемены как условие надлежащего общественного порядка. Само разнообразие авторов свидетельствует о том, что общей вере в органическую эволюцию могло сопутствовать (и даже способствовать) множество противоречивых утверждений и принципов. «Провидение и палач» обеспечивали естественный ход истории для де Местра, революционная теория, классовая борьба и сознание — для Маркса, дисциплинированная организация революционеров — для Ленина. Таким образом они исправляли естественную «слабость» естественно-исторической эволюции. Среди российских и советских мыслителей периода, непосредственно предшествовавшего перестройке, первенство, вероятно, принадлежало Александру Солженицыну, который еще в 1974 г. предвосхитил антиреволюционный настрой поздней перестройки.

> Предложив диалог на основании реализма, должен и я сознаться, что из русской истории стал я противником всяких вообще революций и вооруженных потрясений, значит, и в будущем тоже: и тех, которых вы жаждете (не у нас), и тех, которых вы опасаетесь (у нас). Изучением я убедился, что массовые кровавые революции всегда губительны для народов, среди которых они происходят. И среди нашего нынешнего общества я совсем не одинок в этом убеждении [Солженицын, 1974, с. 62].

В другой статье Солженицын предлагает новую историософскую и нравственную норму — органическую эволюцию, которая была единодушно принята в последние годы перестройки. Применяя эту

норму к российской истории, как он видел ее в 1973 г., Солженицын разумно задает вопрос о будущих трансформациях советского режима в своей вежливой полемике с А. Сахаровым и его мнением, выраженным в «Размышлениях о прогрессе...».

> И если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то, может быть, — я не утверждаю это, лишь спрашиваю, — может быть, следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для нее естественней, плавнее, безболезненней? [Солженицын, 1995, с. 46].

Отказ от революций на основании исторического опыта открыл Солженицыну новый высший критерий, который он применил, оценивая политические варианты как более или менее желаемые. Развитие должно быть «естественней, плавнее, безболезненней». Именно этот критерий был использован, чтобы оценить ожидаемую демократизацию СССР (с угрозой нового краха и насилия, как в феврале 1917 г.) и склониться к авторитарному варианту. В 1989–1991-х годах демократическое решение казалось большинству публицистов и писателей перестройки намного более привлекательным и определенным, и в этом смысле вопрос, заданный Солженицыным, едва ли был услышан. Идея естественного, плавного и безболезненного «эволюционного развития» нашла гораздо более сильную поддержку и стала нормой среди советских гуманистов, русских националистов и западных либералов. Вопрос оказал ли оригинальный консерватизм Солженицына прямое влияние на перестроечный мейнстрим остается открытым: по всей видимости, он первым сделал вывод из непосредственного анализа опыта террора, который был воспроизведен другими, как только императив ненасилия был принят как высшая норма, а массовый террор был признан как исторический факт. Некоторое сходство позиции Солженицына и основного направления мысли поздней перестройки стало следствием сомнений в возможности перехода от советской системы к демократии, за которым современники могли наблюдать и возможную неудачу которого Солженицын мог частично предвидеть. Тем не менее Солженицын и большинство влиятельных публицистов перестройки (за небольшим исключением) сделали разные выводы на основании схожего анализа. Все они восторгались органической эволюцией, осуждали кровавую революцию, оценивали демократические традиции в России как слабые, но при этом Солженицын сомневался в долговечности будущей демократической системы в России, в то время как большинство считало демократическую форму привлекательной и реализуемой. Мы вернемся к этому различию, чтобы рассмотреть разницу в допущениях.

Позднесоветские гуманисты о конце воли

Начиная обзор основных идеологических направлений, в некоторой мере представленных тремя журналами («Новый мир», «Наш современник» и «Коммунист»), рассмотрим взгляды «позднесоветских гуманистов», придерживавшихся позиции, близкой интеллектуальному окружению М.С. Горбачева (за исключением А.Н. Яковлева) и во многом определивших исходную повестку реформ. Яковлев до начала перестройки сформулировал достаточно радикальную повестку трансформации СССР в социал-демократическую страну, при этом в публичном поле он г находил по возможности нейтральные формулировки близкие к риторике позднесоветского официального языка. В частности, Александр Яковлев одним из первых среди высшего руководства использовал в своих тезисах к выступлению на Политбюро ключевую для поздней перестройки оппозицию идеологически мотивированное насилие-естественные процессы в декабре 1988 (достаточно четко указывая на то, что актуальный вариант социализма является результатом насилия над историей), хотя он и не употребил собственно марксистскую лексику и в частности идиому «естественно-исторический». [Яковлев, 1988].

Вслед за ходом Яковлева множество авторов перестройки, выражавших свою веру в естественно-исторический процесс, черпало вдохновение для нового консерватизма не в сочинениях Солженицына, а в трудах классических сочинениях Маркса и поздних статьях Ленина. Признанные идеологи гуманистического социализма, такие, как Г. Лисичкин, А. Бутенко, О. Богомолов, Н. Симония, М. Келле, Т. Кадочникова и К. Момджян, критиковали революционное насилие и даже указывали на фундаментальные ошибки большевиков, используя труды Маркса и Ленина и, в частности, одну конкретную идиому. Понятие «естественно-исторический» возникло как немецкое составное слово в сочинениях Маркса (Солженицын не использовал это понятие), где оно играло важную роль.

> Так, современная история вполне подтверждает центральную идею Маркса о естественно-историческом ходе общественного развития, исключающем возможность произвольных изменений социально-экономического строя, будь они продиктованы самыми благими намерениями... именно XX век показал нам исторические пределы волюнтаризма [Момджян, 1990, с. 50].

Эта центральная идея Маркса противоречила его другой известной идее, выраженной в одиннадцатом тезисе о Фейербахе и заключавшейся в том, что [коммунистические] философы должны не только объяснить, но и изменить мир. Ведущий советский идеолог и умеренный ревизионист 1970-х годов А. Бутенко в последние годы

перестройки провел анализ официального определения текущей исторической формации в СССР как социалистической и указал на отход от «центральной естественно-исторической линии прогресса» к «барачному социализму»[1]. Для Бутенко это возможное отклонение было «предсказано и критически проанализировано» Марксом, который в связи с этим не *виноват* в этом отступлении[2]. Объективным историческим фоном опасного отклонения в сторону барачного социализма стало слабое социально-экономическое развитие, т. е. отсталость России, и незрелость господствующего «антропологического типа» личности. Другая причина возможного отклонения от естественно-исторического пути выглядела более интригующей. Бутенко и Кадочникова пытались реконструировать марксистское мышление, сочетая свободу воли и естественно-историческую необходимость [Бутенко, Кадочникова, 1990]. Они вводят образ своего рода звукового барьера в истории, на пути между необходимостью (включая XX век) и свободой (неопределенное будущее). Попытка преодолеть барьер в отсутствие соответствующих условий путем намеренного преждевременного ускорения естественно-исторической эволюции ведет не к свободе, а к беспре-

цедентной тирании, которая оказывается побочной и тупиковой веткой эволюции.

> Маркс связывал переход к социализму с переходом от вторичной к третичной формации, от классового к послеклассовому обществу, от полосы преимущественно стихийной эволюции к полосе в основном и главном сознательного развития. С этой новой чертой связана не только возможность ускорения общественного прогресса... но и опасность схода с естественноисторической линии поступатель-

1 См. определение барачного социализма, предложенное Бутенко 15 лет спустя: «Общественное устройство, которое из-за формального упразднения частной собственности и связанной с ней эксплуатации в силу псевдоколлективистских форм организации производства и общественной жизни претендует на наименование социалистического, однако ... реально выступает как административно организованное общественное устройство, несущее с собой новые формы эксплуатации и гнета, принижающее всюду личность человека, низводящее его роль до роли выдрессированной рабочей силы, до винтика огромной бюрократической машины» [Бутенко, 2005, с. 146].

2 «Возможность возникновения такого общественного устройства вне общей линии естественно-исторического прогресса была предсказана и критически проанализирована К. Марксом, которого сегодня некоторые теоретики, стремящиеся отвести вину за «советскую казарменность» от И. Сталина и подчинившейся ему большевистской партии, пытаются сделать ответственным за советский казарменный социализм» [Бутенко, Кадочников, 1990, с. 50].

> ного развития, утраты его некоторых необходимых механизмов, как это стало очевидным в XX в. [Там же, с. 47].

Естественно-историческая эволюция должна обеспечить переход от неосознанного развития к осознанной свободе; напротив, попытка осознанного намеренного развития до преодоления барьера должна привести к тирании и регрессу. Защищая справедливость прогнозов Маркса, эта позиция не щадила сложившуюся советскую систему и, подобно большинству ревизионистских историософий, делала ставку на постепенное слияние или преемственность между капитализмом и социализмом. Как можно вернуться к естественно-историческому стихийному пути развития после неудачной попытки форсировать переход к осознанной свободе? В июне 1990 г. Бутенко и Кадочникова смогли лишь выдвинуть идею, что «новый социалистический строй вовсе не заканчивается, а только начинает свое движение, завершающие контуры которого теряются за горизонтом» [Там же, с. 51]. Иными словами, Советский союз даже не находился на пороге социалистического этапа, который оставался привлекательной, но далекой перспективой. Намного позднее Бутенко заключил, что «рыночный социализм — это реальный путь выхода из тупика, обусловленного преждевременным упразднением рынка, и возвращения на путь естественно-исторического продвижения к социализму» [Бутенко, 1997, с.192]. Таким образом, для Бутенко естественно-историческое было единственным лекарством, а волюнтаризм в истории — главным ядом. Сергей Чернышев, философ и после перестройки стратегический консультант и идеолог, разработал, возможно, самую оригинальную волюнтаристскую версию гуманистического видения программы перестройки, продолжив стремление Маркса выйти за пределы исторической необходимости и человеческой разобщенности.

> Поэтому беспочвенны и безответственны попытки избавиться от великого дара Запада: марксовой мечты и плана осуществить прорыв через царство осознанной необходимости в мир гуманизма. Но эта мечта и этот план должны быть возвращены, воссоединены со всем контекстом мировой, западной и русской культуры; царство свободы — с эсхатологическим царством русской религиозной философии, категория отчуждения Маркса — с бердяевской объективацией...
>
> Рождение из мук перестройки такого исторического субъекта и степень его интеллектуальной вооруженности — подлинный вопрос жизни и смерти социализма. Время истекает. Стать субъектом собственного развития — это значит прежде всего обрести самосознание, дать ответ на ленинский вопрос: кто такие «мы»? ... Не успевая ни задуматься, ни оглядеться, пересекаем мы рубеж. Что за ним: разрыв времен или управляемая эволюция, суд истории, или живое творчество народа, отчуждение, или возрождение? [Чернышев, 1990, с. 124].

Перестройка могла дать шанс перейти к полностью управляемой и осознанной эволюции в противоположность революции, сметающей все на своем пути, шанс преодолеть отчуждение, соединить справедливость и свободу. Однако Сергей Чернышев был далек от уверенности относительно такого эсхатологического и научного прорыва, перехода истории от естественной эволюции к «царству осознанной необходимости», а затем к царству гуманизма[1]. В современных ему условиях перестройки Чернышев заключил, что ожидаемая революция развивается в «интеллектуальной пустыне». «Уж сколько лет назад, и к тому же далеко не с академической кафедры, был задан вопрос: кто мы такие, куда идем и откуда? Почему, претендуя на монопольное обладание единственно верной теорией общественного развития, на деле вынуждены двигаться на ощупь, методом разорительных проб и непоправимых ошибок?». [Там же, с. 122] Таким образом, настойчивый поиск осознанной воли, способной сбросить оковы исторической необходимости, закончился серией отчаянных вопросов. Как показывает дальнейшая карьера и поздние тексты, Чернышев потерпел неудачу в попытке отказаться от частной собственности и произвести синтез раннего Маркса, Бердяева и корпоративного капитализма конца XX века, но не в поиске политически значимого действия и личного участия в историческом процессе.

А. Галкин привнес социологический акцент в теоретические и историософские споры о необходимости неуправляемой исторической эволюции. Проректор ИНИОН, ведущего советского научно-исследовательского института социологии, рассмотрел три возможных исхода перестройки с разным распределением ролей между необходимостью и волей: «1) саморегулируемый автоматизм исторического действия; 2) сценарий мобилизации и 3) разумное сочетание саморегулируемого развития с минимально необходимыми стабилизирующими усилиями, которые имеют целью поддержание общественного порядка, правовой атмосферы» [Галкин, 1990, с. 33]. Можно отметить, что третий сценарий, который казался Галкину самым желательным, отличался от «саморегулируемого автоматизма» только минимальными усилиями к поддержанию общественного порядка. Сценарий мобилизации был исключен на основании социологического анализа, связавшего общественное восприятие истории и политическое поведение: «Особенности вос-

1 Чернышев, в частности, приписывал Марксу неортодоксальное деление мировой истории на три этапа, из которых коммунизм является не последним, а средним этапом осознанной необходимости, предшествующим и готовящим этап окончательной свободы, или гуманизма [Там же].

приятия исторического опыта общественным сознанием во многом определяют рамки возможного политического решения проблем, накопившихся к настоящему времени... В то же время значительная часть общества проникнута глубоким недоверием к любым формам мобилизационной модели, призванной стимулировать развитие, и не приемлет даже минимальные усилия, которые можно было бы заподозрить в намерении следовать такой модели» [Там же, с. 33]. Согласно этому диагнозу, даже если предпринять попытку сознательной мобилизации, она потерпит крах независимо от идеологического содержания и цели мобилизации из-за глубоко недоверия общества к подобным коллективным действиям. Этот же аргумент сформулировал Л. Кукса менее явно, используя характерный язык противопоставления естественно-исторического процесса и сознательного действия[1].

Экономист Г. Лисичкин защищал экономические реформы перестройки, указывая, что в поздний период Ленин полагался на «естественно-историческое возникновение социализма из капитализма», а не на «великий революционный скачок» [Лисичкин, 1990, с. 46]. Известный публицист Н. Симония обратил внимание на противоречие между «нашим конкретным опытом» социалистической революции в отсталой аграрной стране — спровоцированной революции, возведенной Сталиным в разряд новой нормы, — и общим ходом истории, правильно охарактеризованным в «марксистском тезисе о естественно-историческом возникновении социализма из капитализма» [Симония, 1989, с. 30, 34, 35]. Симония указал, что Сталин объявил СССР социалистическим государством, когда он отождествил «юридическое обобществление средств производства» с «реальным экономическим обобществлением» средств производства (чего в действительности не произошло), заменив таким образом производственные отношения, т. е. объективные законы истории, произвольными утверждениями, в данном случае формальными законами. Вторя интерпретации Бутенко, на круглом столе «Умер ли марксизм?» философ В.Ж. Келле заключил, что история научила нас осторожности в идеологических построениях: «Мы — таков наш исторический опыт — обожглись на том, что попытались подчинить историю определенной идеологии (это вылилось в насилие над историей)» [Келле, 1990, с. 35]. Согласно Келле, это ошибочное отношение стало следствием забвения ленинского отношения к «естественно-историческому процессу» как

1 «...[необходимо] учесть и неучитываемое: «оценить растущее участие масс во всех сферах социального управления, так сказать, «фактор самоуправления», вносящий существенные поправки даже в самые тщательно отработанные управленческие решения» [Кукса, 1989, с. 152]

пути к социализму [Там же, с. 34]. Так, в 1990 г. некоторые советские гуманисты по-прежнему были убеждены, что история естественным образом приведет к новому виду социализма, отличному как от советского бюрократического социализма, так и западного капитализма. Этот подход хорошо согласовывался с отечественным вариантом «теории конвергенции», сформулированной до перестройки известными советскими диссидентами, включая А. Сахарова, В. Белоцерковского и Л. Карпинского.

В этом отношении конкретный советский опыт настолько не поддавался классификации, что накануне XXVIII Съезда КПСС «Коммунист» в передовице выразил сомнение, осталось ли для марксистского пути место во всемирно-историческом хронотопе. Если социализм мог лишь естественно-историческим путем возникнуть из зрелого капитализма, тогда в каком направлении следовало СССР двигаться из его современного неестественного (или даже несуществующего) исторического положения: обратно к капитализму XIX века, к НЭП или к новому виду социалистического рынка, которого еще не существовало? Эта историософская логика указывала лишь на один политический выбор: воля должна позволить истории вершиться самой.

Внутренние дилеммы и противоречия новой историософской перспективы и ее сомнительная способность предложить надежную политическую программу столь же значимы, как и последовательное нормативное использование понятия «естественно-исторического развития» ведущими советскими марксистами, предпринявшими попытку открытой ревизии. Такое принятие естественно-исторической логики в 1989–1991-х годах противоречило недавно возвращенной символической свободе человеческой воли, основанной на онтологическом статусе выбора и альтернатив в истории. С 1989 г. становление нового императива необходимости, понимаемой как постепенная естественно-историческая или органическая эволюция, и закат логики осознанной воли происходили параллельно с использованием одинаковых идиом пути, выбора и альтернативы и с плавным переходом от свободной воли к необходимости.

Удивительно, что эти две логики редко вступали в прямую конфронтацию при обсуждении текущей политической повестки: естественно-историческая эволюция редко открыто противопоставлялась способности общества и личности выбирать исторический путь. Но было по крайней мере одно исключение. А.Я. Гуревич, известный историк культуры, преимущественно занимался методологией исследования Средних веков, а не переменчивой политической программой перестройки. К концу 1990-х годов он представил пересмотренный неомарксистский подход, основанный на универсальных исторических формациях, использовав старое название «естественно-исторический».

> В рамках подобного понимания истории мало места остается человеческой свободе, для выбора того или иного пути развития, для постановки вопроса об его альтернативности. Случайно ли то, что историко-антропологические интенции ранних трудов Маркса в дальнейшем не были продолжены ни им самим, ни его последователями? [Гуревич, 1990, с. 43].

Гуревич имел в виду, что естественно-историческое разнообразие путей фактически противоречило скрытой идее универсального необходимого мирового пути. перестроечная критика Маркса, Ленина и сталинского марксизма-ленинизма за то, что они не оставили места открытому выбору и альтернативам, фактически игнорировала фундаментальную для марксизма диалектику, сочетавшую, несмотря на все изменения, политический волюнтаризм и допущение о познаваемых и неизбежных исторических законах. Одностороннее толкование истории как области, где господствуют только закономерности и полностью лишенной борьбы, альтернатив и открытых конфликтов характерно не для марксизма-ленинизма в целом, а только для его позднесоветской фазы. Поэтому Александр Яковлев критиковал не столько классиков, а современников за написание истории с точки зрения «железных легионов формаций, лишенных творчества и непрерывного процесса выбора» [Яковлев, 1990, с. 12]. То, что Гуревич считал методологической невосприимчивостью к «антропологическому измерению» в советском марксизме, позволяло покончить с исторической ответственностью, консолидировать прошлые достижения или воодушевить сомневающихся адептов. Но для Маркса, Сталина или Ленина как политических лидеров и идеологов политическая борьба между действующими лицами, будь то в прошлом или настоящем, никогда не сводилась к исторической необходимости: их жажда влиять и управлять историей и использовать политические рычаги была необходимым элементом их успехов и неудач. Гуревич, вероятно, ненамеренно упустил эту оригинальную особенность марксистского мышления, исходно приводимую в действие желанием разрушить оковы необходимости. Однако он осветил быструю революцию в сознании некоторых его современников, которые полагались на марксистско-ленинские источники. Естественно-историческая эволюция стала новым названием слепой, но мудрой необходимости, которая обезоружила человеческую волю не приказом стать ее слугой, а просьбой проявить терпение.

В подтверждение довода приведем цитату О. Богомолова, руководителя Института экономики мировой социалистической системы и депутата Съезда народных депутатов, социалистическим убеждениям которого мы можем доверять, поскольку он оставался им верен в течение длительного времени.

> ... Пора окончательно преодолеть иллюзию, что социализм не может зародиться в недрах капитализма, а требует слома созданных им институтов, должен конструироваться полностью заново. Такие взгляды несовместимы с пониманием общественного развития как естественно-исторического процесса, питают политический волюнтаризм и игнорируют факты. Последние дают основания считать, что развитой капитализм эволюционирует в сторону практической реализации многих социалистических принципов ... это не означает, разумеется, отказа от классического наследия марксистско-ленинской мысли, от сформулированных ею идеалов и ценностей, а также от метода исследования экономических фактов и процессов. Не все марксистские положения и предвосхищения выдержали проверку временем, но весь комплекс гуманистических идей марксизма органически вплетается в обновленную концепцию современного социализма, его экономики [Богомолов, 1989, с. 34–35].

Социалисты надеялись, что история приведет к социализму естественно-исторически. В 1989–1990 гг. эта характеристика исторического процесса применялась для оценки будущего, как в случае Богомолова, и для апологии прошлого, как в случае В. Старцева. Старцев на основании «единственно научно обоснованного вывода» критиковал тех, кто предлагал альтернативы Октябрьской революции: «победа большевиков в октябре 1917 года не была случайностью или искусственным нарушением естественного хода событий» [Старцев, 1990, с. 41]. В этой логике неудачный исторический период обычно критиковали как «искусственное нарушение естественного хода событий», а это означало, что его причиной был волюнтаризм. И защита, и критика велась из подразумеваемой и разделяемой оппонентами предпосылки — естественный ход истории благотворен, а попытка вмешаться в него с помощью доктрины приводит к катастрофам.

Параллели подобному прочтению марксистско-ленинского наследия можно найти у Альтюссера [Althusser, 1972]. Акцент на концепции «исторического процесса без субъекта» основан на оригинальной интерпретации Гегеля, у которого черпали вдохновение и Маркс, и Ленин. Альтюссер пытается дополнить политическую философию действия, которую практиковал Ленин. Эту новую политическую философию можно кратко описать так: массы, а не лидеры, создают историю в процессе классовой борьбы. Роль философии или сознания в историческом процессе без субъекта заключается не в том, чтобы руководить, а в том, чтобы понять, что уже произошло в неосознанном движении масс, т. е. история происходит без действующей в ней человеческой воли. Подобно некоторым публицистам перестройки Луи Альтюссер преуменьшал или игнорировал предполагаемый волюнтаризм Ленина, характерную черту большевизма и марксизма-ленинизма, отличающую их от социаль-

но-демократического реформизма. Напротив, одним из наиболее влиятельных теоретиков-марксистов, защищавших волевой элемент, был Георг Лукач [2003], который в работе «История и классовое сознание» рассматривал практически исключительно логику возникновения классового сознания и диалектику преодоления дихотомии волюнтаризма и фатализма. Это значит, что противоречие между волей и необходимостью было хорошо известно неортодоксальной и живой марксистской традиции. Следуя общей трансформации публичной политической философии во второй половине перестройки большинство социалистов однозначно подчеркивали эволюционный аспект марксистской традиции и либо продвигали идею естественно-исторической эволюции от капитализма к социализму в настоящем (противопоставляя ее несвоевременной и кровавой Октябрьской революции), либо защищали Октябрьскую революцию и ее наследие как необходимый и естественный ход событий.

Русские патриоты и националисты о конце воли

Подобно позднесоветским социалистам и адептам теории конвергенции, русские националисты были практически единодушны в восхвалении органической эволюции и ее противопоставлении революционному насилию над историей. Националисты уделяли особое внимание отождествлению насилия над историей с западными, интернациональными и еврейскими идеологиями, пытающимися навязать себя органическому национальному сознанию России. Авторы «Нашего современника» не употребляли марксистское прилагательное «естественно-исторический»; они писали об органическом, естественном или национальном пути в отличие от «кабинетных теорий», «спекулятивных схем», «социальных экспериментов» и якобы «уникальных путей развития». Два наиболее значительных автора русского национализма, Шафаревич и Солженицын, были знакомы, причем Солженицын цитировал Шафаревича в своих публицистических статьях 1970-х годов. В отличие от большинства диссидентов они считали либеральный западный путь неприемлемым для России, хотя Солженицын подчеркивал способность Запада к самообновлению. Шафаревич, как и его более известный коллега, публиковался и в «Новом мире», и в «Нашем современнике» и имел доступ к намного более широкой аудитории, чем другие авторы-националисты.

> Мы привыкли в науке и технике к такому ходу решения задачи: идея — детальный план — модель или эксперимент — и, наконец, воплощение в жизнь. На этом рационалистическом пути создаются и заводы, и атомные бомбы... но жизнь творится какими-то иными

> путями, а история — форма жизни. Органические же изменения... не придумываются, а вырастают из жизни, и роль человеческой деятельности здесь главным образом в том, чтобы их узнать, угадать их значение и способствовать их укоренению. [Шафаревич, 1989, с. 164].

Изобличая родство левого терроризма и современного либерализма, Шафаревич куда менее сдержан и более критичен, чем Солженицын («Для либералов терроризм был лишь крайностью — тем, что они хотели бы, но боялись делать» [Там же, с. 161]). Математик-диссидент заключал, что коренным аморальным убеждением идеологии либерального и социалистического прогресса, ответственной за массовое насилие, была «гипнотическая убежденность в том, что она открывает единственный путь прогресса» [Там же, с. 161]. Как и критика Волобуева, направленная против исторической необходимости насилия при Сталине, анализ историософии единственного всеобщего пути должен показать, что всеобщность была нравственной и фактической ошибкой — самовольным выбором и произволом в отношении естественного хода истории. На этот раз ответственность была возложена одновременно на Сталина, гуманистов-социалистов и либералов. Но «единственно верный путь» возвращался «контрабандным грузом» в виде надежды на органическую эволюцию. Русские националисты, как и многие публицисты других направлений, колебались между отвержением телеологии и ее скрытым принятием.

Шафаревич широко использовал основанные идиомы пути, выбора и альтернативы, к которым высказывал явно скептическое отношение, с тем, чтобы лучше выразить собственную политическую идею российского экологического неоконсерватизма с примесью антисемитизма. Шафаревич пользовался доминирующим языком, подгоняя его под собственные цели и критикуя его недостатки. Отзываясь на заглавие знаменитой статьи Клямкина «Какая дорога ведет к храму?»[1], Шафаревич озаглавил собственную статью (опубликованную почти двумя годами позже, в 1989 г.), обыграв эту метафору еще раз: «Две дороги к одному обрыву»[2]. Основной аргумент строился на сведении идеологий либерализма и коммунизма к раз-

1 В разгар перестройки Клямкин исследовал актуальную метафору «выбора пути», чтобы заявить, что по сути выбора между сталинской системой и более совершенным гуманным социализмом не было. Этот риторический ход, однако, сделал метафору «выбора» еще более значимой.

2 Мы можем сравнить ее с названиями целой серии статей-реплик: Бутенко А. (1988) Сколько дорог ведет к храму? *Горизонт*, (11). Кузьмин А. (1988) К какому храму ищем мы дорогу? *Наш современник*, (3). Попов В., Шмелев Н. (1989) На развилке дорог. *Осмыслить культ Сталина*, М.: Прогресс.

ным проявлениям одной техноцентричной цивилизации, основанной на утопии Фрэнсиса Бэкона, полагавшего возможной полностью рациональную организацию, которая ведет к насилию над Человеком и Природой[1]. Выбор между этими двумя дорогами, естественно, обречен на провал. Для Шафаревича позитивная идеологическая программа должна избегать не только недостатков советской системы, но и недостатков «позднего западного капитализма» и его утопичности. Общий для перестройки горизонт «цивилизованного мира» в качестве ориентира для обсуждения политики перестройки и ее текущих проблем в перспективе Шафаревича предстает горизонтом мирового кризиса — политического, общественного, духовного и экологического — мировой технократической цивилизации в целом. Несмотря на необычную идеологическую позицию, язык и пределы обсуждения существующих институциональных вариантов нам уже знакомы, однако Шафаревич пытается преодолеть ограничения используемого языка.

> Вряд ли у нас есть основания предугадать, как человечество выйдет из этого кризиса, но одной из ложных схем представляется мне противопоставление командной системы западному пути как двух диаметрально противоположных выходов, из которых только и возможен выбор [Там же, с. 165].

Прежде чем вернуться к краткой позитивной программе, Шафаревич указывает на современное «уничтожение возможных запасных вариантов, которыми человечество могло бы воспользоваться в случае кризиса [западной технократической] цивилизации», противопоставляя такое состояние периоду кризиса античной средиземноморской цивилизации, когда «человечество обладало целым спектром возможных путей развития». Россия, Китай или Индия не сохранили достаточного разнообразия самобытных социальных укладов жизни, чтобы обезопасить человечество в случае кризиса

1 «Как и сталинская командная система, западная технологическая цивилизация избрала техноцентрическую идеологию в противоположность космоцентрической. Это всего лишь другой путь осуществления уже знакомой нам утопии об «организации» природы и общества по принципу «мегамашины» с максимальным исключением человеческого и вообще живого начала». «Единственный возможный выход — перейти от развития, основанного на постоянном росте, к стабильному стилю существования. В частности, бэконовский принцип «покорения природы» должен быть заменен противоположным — «покорения техники». Социальным аспектом начальной фазы этого периода является и наша командная система, и утопическая линия развития позднего капитализма...» [Шафаревич, 1989, с. 158, 165].

технологической цивилизации, и чтобы «человечество могло среди них найти альтернативный вариант развития» [Там же, с. 158]. Таким образом, три связанные идиомы играли ключевую роль в критике чужих взглядов и защите собственных, когда Шафаревич предостерегал Россию (не СССР!) против очередного неверного выбора, потому что как только исторический путь выбран, становится крайне трудным «преодолеть его инерцию», а возвращение назад и вовсе невозможным. Поэтому «мы» можем использовать исчезнувший русский крестьянский уклад лишь как пример «органически выросшего жизненного уклада» и ориентир для будущего, но не как прямое руководство к действию. Автор выработал, вероятно, наиболее сложную и влиятельную интеллектуальную программу русского национализма. Мы можем отметить характерный для перестройки утопизм этого течения — ни он сам, ни его последователи не предложили более конкретной политической позиции, которая могла бы содействовать возрождению «крестьянской цивилизации».

В «Нашем современнике» Виктор Ярин противопоставил «органическую эволюцию» «умозрительным построениям», которые сперва заманивают демагогическими обещаниями наилучшего социального устройства, а затем неизбежно превращаются в «вурдалака, пожирающего народ» [Ярин, 1990]. Неизбежность такого превращения представлялась как «доказанный исторический факт». Как можно возразить этой мрачной логике или скорректировать ее? Ярин недвусмысленно описал путь постепенной трансформации партийной системы в народное самоуправление.

> Это путь органической эволюции, путь сближения традиционной партийной структуры власти со структурами народного представительства, которые тоже сейчас создаются заново... А если говорить конкретнее, то надо, чтобы реформы осуществлялись не директивным путем, не на основе абстрактных схем, надо в их течении дать больший голос жизни, всем людям [Там же, с. 7, 11].

Женские голоса в публицистике были особенно здравы и последовательны в отстаивании российского органического пути как в либерально-центристском «Новом мире», так и в русском националистическом «Нашем современнике». В частности, речь идет о теоретических публикациях Аллы Латыниной («Новый мир»), Ксении Мяло («Новый мир», «Наш современник»), Татьяны Наполовой и Татьяны Глушковой («Наш современник»), изданных в 1989–1991-х годах. Последние два автора обсуждали оптимальный способ нового эволюционного пути; они возражали против рыночной либерализации как еще одного радикального насилия над историей.

> Перед нами стоит задача искать свой путь, чуждый каким бы то ни было заранее заданным схемам… У нас слава богу, есть историческая память, как ни старались ее уничтожить, есть богатая экспериментами история. И радикалы играли в ней столь мрачную роль, что народ не может пойти у них на поводу [Наполова, 1990, с. 188].

Татьяна Глушкова осуждала либеральных радикалов из тех же соображений. По крайней мере теоретически она пришла к смелому, т. е. непопулярному и едва ли мыслимому для других авторов, выводу, что устоявшуюся советскую систему можно защищать во имя эволюционной политической философии, подобно любому другому социальному порядку. Глушкова подозревала тех, кто объявлял прежние эксперименты неприемлемыми, в желании «делать историю» и при этом благоразумно признавала советскую модель «давним и во многом саморазвивающимся историческим экспериментом». Однако ее проект был слишком фрагментарен: Глушкова не указывала, что именно она готова позаимствовать у позднесоветского строя.

> Попытка своенравно отменить старый, во многом уже саморазвивающийся исторический эксперимент слишком смахивает на экспериментирование новое. Она исходит из той же теории рукотворности общества, одушевлена все тем же пафосом делания истории. «Более благородного» делания в сравнении с «менее благородным», но более ли ответственного? [Глушкова, 1989, с. 181].

Другой известный публицист и в дальнейшем ведущий идеолог национально-патриотического направления Александр Проханов пытался предложить более последовательную консервативную точку зрения применительно к современной советской политике. Проханов проповедовал союз Красной и Белой России как «идеологию выживания». Очерчивая идеологию такого союза в «Нашем современнике», бывший военный репортер, позднее снискавший репутацию «певца Империи», Проханов развернул двойную оппозицию против «либерального авангарда»: «Российская компартия и [русское] национальное патриотическое движение нуждаются в друг друге. Идеологией РКП должна стать идеология национального выживания» [Проханов, 1990, с. 8]. В то время Проханов был единственным, кто предложил намеренное слияние ценностей русского национализма и коммунизма (преимущественно смеси милитаризма, научно-технического прогресса, священного культа павших предков, патриотизма и антисемитизма) в качестве противопоставления прозападному либерализму или социал-демократии. Хотя «Наш современник» освещал на своих страницах оба направления, он отдавал явное предпочтение русскому национализму, и кроме Про-

ханова не было авторов, которые объединяли бы оба направления. Если консерватизм русских националистов из «Нашего современника», а также борьба Солженицына с коммунизмом предполагали разрыв преемственности между процветающей и духовной дореволюционной Россией и криминализованным Советским союзом[1] (в некоторым смысле, это был типичный возврат к истокам с революционной риторикой реставрации вместо сохранения и преемственности), то консерватизму советских коммунистов следовало защищать устоявшуюся систему. При этом не было ясно, какие институты и политические принципы Проханов был готов унаследовать от СССР помимо патриотизма.

Консервативная оппозиция против реформ Горбачева существовала, но не было здравых коммунистических идеологов, которые смогли бы консолидировать эту оппозицию и предложить актуальную и политически убедительную консервативную идеологию. Проханов набросал своего рода консервативную идеологию перехода от преемственности со всем Советским союзом к преемственности с Советской Россией и Российской Империей. В контексте перестройки такой «консерватизм» в равной мере способствовал разрушению Советского Союза, прямо подрывая организационное единство КПСС, от которого только что откололась КПРФ при активном сочувствии и поддержке авторов «Нашего современника»[2]. Однако Проханов создал идеологическую основу для ностальгии постсоветской России, смешавшей русский национализм с советским патриотизмом. В то же время публицист одним из первых употребил слово «консервативный» как положительную характеристику, чтобы обозначить новую тенденцию, которую мы описали как нормативное превосходство естественно-исторического развития.

> Будущее общества, пережившего сегодняшнюю драму, не в революционных конвульсиях, а в эволюционном замедленном развитии. Консерватор в устах «либерального авангарда» –слово скверное, бранное,

1 Сравним с текстом Солженицына, опубликованным в том же месяце: «Вот чему пора, а не состраивать теперь для позорной преемственности новую РКП, принимать всю кровь и грязь на русское имя и волочиться против хода истории. Такое публичное признание партией своей вины, преступности и беспомощности стало бы хоть первым разрежением нашей густо-гнетущей моральной атмосферы» [Солженицын, 1990].

2 А. Проханов, позднее выражавший глубокую озабоченность распадом «Советской империи», в момент ее распада фактически занимал антисоюзную позицию и прямо признал Советский Союз несуществующим: «Когда-то мы жили в Российской империи. Когда-то мы жили в Советском Союзе. Неизвестно, где мы живем сейчас. Но мы будем жить в России» [Там же, с. 7].

> но сегодняшний процветающий мир управляется консерваторами... Категория консервативности должна пройти через наше изуродованное революциями сознание, занять достойное место среди установок и ценностей [Там же, с. 8].

Примечательный союз консерваторов и беднеющих постсоветских масс, ностальгирующих об утраченном социальном равенстве, обрел организационную форму на Съезде «национально-патриотических объединений» в феврале 1991 г. Подобная смесь радикального русского национализма и советского патриотизма не могла не ускорить обособление республик. Идеологический союз коммунистов-патриотов и русских националистов консолидировался в течение 1990-х годов на базе КПРФ. Проханов и Ярин были, пожалуй, единственными консерваторами, которые были готовы сохранить что-то из быстро уходящего советского настоящего. Оригинальность «эволюционного консерватизма» Проханова и Ярина становится заметной, если сравнить их позицию с главным вкладом Солженицына в Перестройку — «Как нам обустроить Россию?» (сентябрь 1990 г.). Мы также можем сравнить ее с анализом более ранних сочинений Солженицына, проведенным Аллой Латыниной, «Солженицын и мы», который был написан и издан примерно в то же время. Латынина называет лауреата Нобелевской премии духовным вдохновителем отказа от революционного наследия в пользу свободы и национального возрождения.

> Считая Гражданскую войну национальной катастрофой, Солженицын решительно пересматривает установившуюся в советское время версию российской истории, согласно которой Россия была деспотией, тюрьмой народов и единственным желанным историческим выходом оказывалась революция. Сторонник эволюции и реформ, Солженицын настаивает на том, что медленный, упорный эволюционный путь желательнее для страны и что революционное нетерпение, террор в конечном счете привели к режиму более страшному, чем монархия [Латынина, 1990, с. 252].

Уроки, извлеченные из прошлого опыта, остались сосредоточены на прошлом — на попытке определить, какой путь более желателен и полезен для России. Применительно к настоящему предпочтение эволюционного пути обозначало скорее отказ от сопротивления тому, что происходит само по себе, чем указание на конкретные политические альтернативы. Любые формы целенаправленного воздействия на историю, включая реформы, оказываются опасной самодеятельностью. В «Как нам обустроить Россию?» Солженицын выразил резкое недоверие к способности власти провести преобразования: «реформы... только губят дело и отбивают у лю-

дей последнюю веру в обещания власти» [Солженицын, 1990]. Алла Латынина также приветствовала отказ от «социальных экспериментов» в пользу режима, гарантирующего личные и экономические свободы, а не в пользу постепенного эволюционного перехода. Ее полемика фактически была направлена против наивных социалистов-гуманистов, пытавшихся сохранить идеалы, если не институты, советского прошлого. На имплицитный вопрос, не следует ли включить семьдесят лет экспериментов в органическую преемственность между дореволюционным наследием и ближайшим будущим, Солженицын и Латынина отвечали отрицательно. Советское прошлое и даже настоящее было для них в некотором смысле вне истории. Такая избирательность заслуживает отдельного анализа, который мы проведем в заключение, рассмотрев также широкое принятие и ожидание демократии, несмотря на отсутствие исторических прецедентов в России, правильно отмеченное Солженицыным.

Сторонники рынка и «либералы»[1] о конце воли

Алла Латынина опиралась на авторитет Солженицына, и ее можно отнести к либеральным публицистам, отстаивавшим идеи естественно-исторической эволюции. Ряд других влиятельных либеральных авторов примкнули к этому направлению в 1989–1991-х годах. Эти авторы пришли к одним выводам с советскими гуманистами и русскими националистами, но при этом никто из этих представителей противоборствующих групп не замечал общности взглядов по этому вопросу. Речь шла о слишком очевидном и само со-

1 В данном случае мы делаем акцент на экономическом аспекте явной защиты «рынка» и «рыночных отношений» как общем для этой группы авторов. Выбор термина «либералы» для обозначения идеологической близости, как это часто бывает в интеллектуальной истории, в этот период был обусловлен не самоназванием, а скорее критическим внешним ярлыком идеологических оппонентов. Авторы журнала «Наш современник» начиная с 1989 г. достаточно активно использовали термин «либерал» и «либералы» для обозначения мейнстрима перестройки с явными негативными коннотациями. Самоназванием для значительной части публицистов и политиков термин стал уже позже. При этом современные нам постсоветские исторические коннотации, конечно, были недоступны для авторов того периода. См., например, «Будущее общества, пережившего сегодняшнюю драму, не в революционных конвульсиях, а в эволюционном замедленном развитии. Консерватор в устах «либерального авангарда» — слово скверное, бранное, но сегодняшний процветающий мир управляется консерваторами...» [А. Проханов, 1990]. «Как тут не вспомнить о терроре либералов века минувшего!» [Наполова, 1990].

бой разумеющимся наборе аргументов, которые сегодня нам кажутся скорее удивительными. Александр Ципко, стоявший на позиции либерального и умеренного русского националиста, повторил довод в пользу естественной эволюции, использовав здравомысленную, если не тавтологичную формулировку: «Уроки наши, доказывающие, что невозможное невозможно, что естественное в конечном счете одерживает победу над неестественным, выморочным, несомненно, имеют всемирно-историческое значение» [Ципко, 1990, с. 120]. Здесь можно заметить надежду, что советский опыт преподал всемирно-исторический урок, даже если он сводится к формуле «невозможное невозможно», или если отрицательный пример доказывает то, что известно всему миру: либералы, националисты и социалисты перестройки понимали и спорили с осознанием того, что они были частью всемирно-исторического процесса. В этом смысле перестройка воспроизводила амбиции и язык марксизма, объединявшего универсальность (всемирно-историческое) и необходимость прогресса (закономерность) в естественно-историческое развитие с принципиально новым для марксизма добавлением строгой этики ненасилия.

Для понимания внутренней логики естественно-исторического консервативного поворота для самих перестроечных авторов важно, что переход от официальной марксистско-ленинской исторической необходимости к позиции, ориентированной на активно действующего исторического субъекта, который выбирает свой путь, и обратно к предположительно естественному течению жизни (в качестве нового и положительного названия необходимости) иногда можно наблюдать в пределах одного абзаца одной статьи, как это хорошо видно у Александра Ципко:

> Мы все еще повторяем формулу Маркса: бытие определяет сознание. Но опыт XX века опроверг это умозаключение. Не бытие определяет сознание, а сознание, идея, теория определяли бытие... XX век сделался эпохой насилия идеи над жизнью, абстракции над человеком, и, если говорить всерьез, дело в этом, а не только в том, что нами тридцать лет правил Сталин [Там же, с. 120].

Мы попытаемся несколько схематично показать эти три этапа — необходимость — сознательный выбор — естественная эволюция — ниже. Анализ либеральных версий органической историософии хотелось бы начать с рассмотрения еще одной статьи, опубликованной в «Новом мире» Алексеем Кива, историком, известным либеральным публицистом, а затем политическим советником. Кива начинает статью, помещая советскую историю в контекст «единой мировой цивилизации» и приписывая в ней СССР весьма скромное

место[1]. Косвенно ссылаясь на Маркса, Алексей Кива использует термин «естественно-исторический», чтобы обозначить универсальную историческую необходимость капитализма, связанную с более высоким уровнем цивилизации.

> В ходе естественно-исторического развития всякое общество в принципе должно пройти через развитый институт частной собственности, священной и неприкосновенной. Этот лозунг буржуазных революций явился величайшим завоеванием политической мысли, показателем высокого уровня развития мировой цивилизации. [Кива, 1990, с. 209].

Предлагая эффективную рыночную экономику и стабильную демократию как естественно-историческую перспективу для Советского Союза, Кива также высказывал предпочтение в пользу эволюционных методов. Он предпринял попытку систематического исследования текущей политической ситуации и ее вариантов с эволюционной точки зрения, одновременно принимая устоявшееся в 1987–1989-х годах мнение, что действующую административную систему необходимо разрушить. Эти два подхода как будто явно противоречили друг другу: советскую систему нужно радикально разрушить, но история показывает, что только эволюционные методы полезны. Кива дает тонкий и точный ответ, удовлетворяющий обоим требованиям: «Что такое революция? Ликвидация привилегий? Новый передел? Революция — это прежде всего устранение препятствий на пути общественного прогресса. И чем плавнее, спокойнее, «эволюционнее» она протекает, тем больше выигрывает общество» [Там же, с. 216]. Лучший вариант — это эволюционная революция. Что же такое эволюционная революция? Она не означала политического предпочтения в пользу «поэтапных реформ», которые изначально Солженицын признавал лучшей альтернативой большевистской революции и которые были дискредитированы пятью годами перестроечных реформ. Разрушение старой системы должно быть полным и немедленным: в этом смысле нельзя щадить ничто из советской системы, советский устаревший режим рассматривался как ряд институциональных преград. Консерватизм Проханова и Ярина, направленный на (очень выборочную) защиту органического советского наследия, в то время выглядел скорее экзотическим и не указывал,

1 «Поскольку реальный социализм — это не какой-то особый социум, сам себе устанавливающий законы развития, как многие думали раньше, а часть единой мировой цивилизации, причем меньшая, более отсталая и слабая часть (ракеты не в счет)» [Кива, 1990, с. 208].

какие конкретно социальные практики и институты имели ценность и могли быть сохранены. Эволюционная революция означала мирное устранение всех старых ограничений, а затем поиск естественных решений вместо применения готовых схем и идеологических умопостроений. Демократия и (социально ответственный) рынок рассматривались либеральными и большинством социалистических авторов не как еще одна идеологическая схема, а как результат естественного отбора лучших режимов в ходе мировой истории. Придерживаясь той же логики аргументации, противники капиталистической алчности возражали, что либералы были новыми большевиками, намеренно навязывающими чуждые ценности и обычаи тем, кто уклоняются от благотворного русского пути, каким бы размытым и неопределенным такой путь ни выглядел. В целом утверждение благотворности естественно-исторического пути носило квазиуниверсальный характер. Пример и образец цивилизованного Запада принимался не всеми и часто оспаривался, но на тот момент он был наиболее конкретным и убедительным изображением будущего «естественно-исторического состояния».

В экономических спорах о реформировании советской системы широко использовался довод, что товарно-денежные отношения в отличие от административного насилия носят естественный и органичный характер. В статье Николая Шмелева «Либо сила, либо рубль» мы находим эту типичную линию аргументации, взятую в широкой историософской перспективе[1]. Известный советский экономист призвал читателей отказаться от поиска новой экономической модели, «беспрецедентного, неестественного и искусственного и поэтому обреченного на провал с первых минут» (здесь Шмелев говорил о таких «химерах», как самоуправление работников, ответственность государственных предприятий, которые показали себя неэффективной формой полурыночного социализма в годы перестройки), и вместо этого принять рынок как естественный плод тысячелетней истории — от Древнего Египта до развитых современных экономик. Для Завельского логика естественно-исторического характера рынка оправдывала даже теневую экономику. Завельский завершает свое эссе в сборнике «Гласность, демократия, соци-

1 Доводы, противопоставляющие бюрократический произвол естественным законам экономики, были характерны для ряда влиятельных либеральных экономистов и экономистов-публицистов (В. Селюнин, Б. Пинскер, В. Попов, С. Шаталин, Н. Петраков и другие). Ср.: Пинскер Б. (1989) Бюрократическая химера. *Знамя*, (11). Селюнин В. (1989) Плановая анархия или баланс интересов. *Знамя*, (11). Шмелев Н., Попов В. (1989) *На переломе: экономическая перестройка в СССР*, М.: АПН. В частности, глава «Бюрократия и рынок».

ализм» призывом увидеть в черном рынке не проблему, а указание на естественное решение проблем чрезмерного планирования.

> Пора понять, что наша теневая экономика — это не что-то чуждое и противостоящее нам подобно новому врагу, виновному во всех наших бедах, но органичное явление, естественно происходящее из нашей истории и нашего общества.
>
> Пора осознать, что по сути теневая экономика — это сосредоточенный результат общенародной попытки найти выход из тупика, в котором мы оказались; она дает нам эталон для поиска верного пути, пока мы не сможем выйти из тупика [Завельский, 1990, с. 261].

Итак, для либеральных авторов рынок представлял собой естественное стремление мировой истории и инстинктивную попытку выйти из тупика централизованного планирования в экономике. Даже черный рынок рассматривался как выражение естественного стремления общества, подавляемого советской системой.

Завершая перестройку: время отпустить вожжи истории

Центральный аспект естественного исторического поворота, явствующий из рассмотренной выше статьи Кива, является, пожалуй, самым поразительным и оригинальным аспектом политической теории перестройки. Упор на естественно-историческую эволюцию находит свое аллегорическое переосмысление в оптимальной роли исторического субъекта или общества в целом.

> Предпринимаемые в последнее время нашим руководством попытки выработать оптимальный вариант выхода страны из экономического тупика можно образно сопоставить с повелением всадника, сбившегося с пути в сильную пургу. Опытный, умный всадник отпустит вожжи, лошадь сама найдет путь. Неумный же будет шпорить и шпорить свою лошадку ... и сам замерзнет и ее загонит [Кива, 1990, с. 211].

С этой точки зрения неверны как постепенные реформы, так и радикальные революции. Советскому обществу необходимо было сойти с неверного пути, и, отказавшись от всех форм организованного принуждения, позволить естественному ходу событий вывести его на верную дорогу. Эта формула, вдохновленная идеей превосходства естественно-исторической эволюции и отказом от пафоса делания истории, отражала не столько мнение либералов, националистов или неосоветских консерваторов, но скорее общее отношение к политике в 1990–1991-х годах. Так, один из ведущих авторов «Нашего современника», возражавший против либеральной рыночной

экономики, предложил тот же «рецепт», что и либерал Кива, хотя и в надежде на другой исход: на провиденциальную правоту истории.

> Так что же выбрать обществу сегодня? Не стану давать рецепты. Их нет и у наших признанных специалистов. Может, это и к лучшему. История показывает — глобальные планы переустройства оборачиваются нищетой и разрухой. Плодотворно органическое развитие. Рост на уже освоенной почве. А такое развитие может быть только постепенным. Не дело публицистов и экономистов ставить задачи перед обществом, открывать ему новые идеалы. Мы призваны напоминать о них. Народ сам вынес свои святыни из веков истории, наша задача — привлечь внимание к ним, побудить людей, захваченных текучкой буден, поднять голову и увидеть путеводную звезду ... А уж какую форму собственности сочтет плодотворным общество, решать ему [Казинцев, 1990, с. 172].

Обобщая аргументы либералов, гуманистов-социалистов и русских националистов в 1989–1991-х годах, естественно-историческая эволюция без сознательного действия при поддержании минимального общественного порядка представлялась мудрым, продуктивным, нравственным и единственным возможным курсом. Советские консерваторы в отсутствие теоретической позиции также отступили перед лицом приватизации, в которой они видели реставрацию дикого капитализма, неприемлемую, но необратимую. Выражаясь словами бывшего областного секретаря партии В. Конотопа, «слишком поздно обсуждать».

> Соглашусь, что происходящие в нашем обществе процессы необратимы и их слишком поздно обсуждать, но тем не менее я спрашиваю: не указывает ли пример, скажем, недавний польский опыт, куда движется наша страна? Демократия и гласность в их современной форме, к сожалению, вызвали к жизни сионистов, националистов, бухаринцев, троцкистов, воров, неофашистов и прочую нечисть... Непростительно рано мы хороним плановую систему, не совершенствуя ее, а полагаясь на некапиталистическую саморегулируемую экономику, слишком рано мы хороним руководящую роль партии, полагаясь на мифическую добрую волю и самоуправление без должной дисциплины и строгого порядка [Пихоя, 2007, с.141-142]. [1]

Наконец, один из восходящих политических лидеров перестройки Николай Травкин, в свое время заводской рабочий, в идеологическом отношении находился между демократическими социали-

1 Речь идет об обращении бывшего первого секретаря партии Московской области В. Конотопа, цитированного и рассмотренного в предыдущем разделе.

стами и радикальными рыночниками. В интервью «Литературной газете» Травкин резюмировал распространенные взгляды того времени, говоря об острых вопросах Октябрьской революции, марксизма, вины большевиков и восхваляя естественное общественное развитие: «жизнь оказалась сложней, а модель [большевиков] — ущербной» [Травкин, 1990].

Странное сходство в политической ориентации конкурирующих и конфликтующих идеологических направлений можно объяснить, основываясь на проведенном анализе. Можно повторить два историософских компонента этого важного поворота в мышлении, условно называемого естественно-историческим: скептическое отношение к целенаправленности человеческой воли и благотворность течения истории. Первый компонент отражал глубокое разочарование в попытках делать историю, безнравственности, претензиях на историософское знание и практических результатах марксизма-ленинизма, а второй и более скрытый компонент был связан с элементами марксистского телеологического и хилиастического характера, идее прогресса в ее либерально-демократической форме и, возможно, продолжал российскую историософскую традицию.

Этот второй компонент, вера в благотворность истории, особенно ясно просматривается в поиске исходной ошибки, отметившей отклонение от утраченного естественного исторического пути. Эта логика прослеживается в формулировках социологического опроса, проведенного Институтом марксизма-ленинизма и Академией общественных наук:

> ... 52% описали Октябрьскую революцию как «естественный этап развития страны», 22% — как «неизбежность», 23% — как историческую ошибку. В том же опросе, отвечая на вопрос о попытке реализовать социализм на практике, 5% избрали позицию детерминизма (на момент Октябрьской революции не было альтернативных путей исторического развития), 11% признали выбранный путь в целом верным, хотя могли быть более благоприятные варианты, а 59% сообщили, что идея социализма верна, но не может быть реализована на практике. Только 24% считали, что избранный в то время путь был неверным. Доля респондентов, осудивших весь советский период, была примерно такой же, как в опросе ВЦИОМ, рассмотренном выше, в котором 28% утверждали, что захват власти большевиками не был исторически неизбежен... [Wyman, 1997, p. 62].

В другом опросе, опубликованном в 1991 г., респондентам предложили оценить ключевые исторические события, выбрав один из двух ответов: «Это было необходимо» или «Это не было необходимо» [Ibid., p. 63]. Респонденты оценили советскую историю менее критично, чем социологи, которые составляли вопросы. Люди пытались из-

бежать подразумеваемой социологами логики, отождествляющей историческую необходимость с добром, а зло — со случайным. Формулировки вопросов, использованных в опросах, и особенно социологических пояснений к ним содержали допущение: естественный и необходимый исторический курс был благотворен, а исторический выбор (теперь отождествляемый со случайностью) мог быть только неверным. Аналитик самостоятельно объединил в одну группу 28% респондентов, ответивших, что победа большевиков *не* была «исторически неизбежной», и 24%, ответивших, что «выбранный путь был неверным». В отличие от публицистов большинство было явно не готово принять эту логику и выбирало, пожалуй, самый неудобный вариант, что «идея социализма верна, но не может быть реализована на практике». Мы можем истолковать эту формулировку как принятие обществом идеалов социализма и принятие их практического краха: это стоило опробовать, но реализация потерпела неудачу. Мыслительные рамки, заданные большинством публицистов перестройки, предполагали, что история была сама по себе благотворна и ей просто нужно подчиниться, в то время как большинство респондентов имели более трагичный взгляд на историю.

В публицистике убеждение, что первоначальный истинный путь был утрачен «случайно» (т. е. вследствие злой воли, которую невозможно было интеллектуально вывести из объективной необходимости и не следовало нравственно сводить к последней), было повсеместным. Принять, что «естественный» исторический путь можно исказить, было нелегко как в интеллектуальном, так и моральном отношении. Поэтому поиск коренной ошибки носил всеобщий характер независимо от того, признавали ли субъекты поиска «утрату пути» неверной поворотной точкой или произвольным отклонением. Р.У. Дэвис очень точно описал это общее теоретическое убеждение, наблюдавшееся в 1992 г.

> В эйфории 1992 года все советское прошлое отвергалось теми, кто только что выступал за НЭП, а дискуссия велась о том, когда именно в 1917 году Россия свернула с пути, которым должны были следовать все цивилизованные страны [Davies, p. 264].

Распространенное ощущение интеллектуального замешательства и понимание практической беспомощности реформ сделали публичные теоретические дебаты более резкими и фрагментированными. В последние два года перестройки можно было наблюдать множественность возмущенных монологов, нежели возмущенную дискуссию. Для влиятельных авторов этого периода была характерна историософская аргументация, абсолютная морализация

и тематическая ориентация на советское прошлое. Помимо историософских идиом и консенсусного нравственного императива ненасилия авторы эпохи перестройки имели мало общего, будучи разобщены разными политическими ценностями и отношением к концепции коллективной вины за массовые преступления советского народа, относительно недавней возложенной на народ. Интеллектуалы разной политической чувствительности пришли к отрицанию плана (намеренного действия) как насилия над историей, в то время как нравственность стала основным критерием оценки политики и истории. Таким образом, мы можем указать на влияние сложившихся политических языков и на рефлексию над общим опытом двойной исторической неудачи (Октябрьской революции и самой перестройки) как на основные источники этого интеллектуального поворота, совершенного одновременно большой группой людей, которые субъективно ощущали, что недостаточно слышали и понимали друг друга. Сложился преимущественно негативный и фактический консенсус, который в тот момент не осознавали сами авторы: естественно-историческое развитие и органическая эволюция компенсируют неспособность человеческой воли править своим кораблем в истории[1].

В отличие от Бёрка, ссылавшегося на доступную британцам в ощущениях философию и практику прецедентного права, перестроечные авторы, включая Александра Солженицына, указывали и апеллировали к недоступному в СССР в 1990 г. позитивному опыту «мировой цивилизации», «демократии малых пространств» или «русской общины». В случае поздней перестройки речь идет о принципиально другом типе идеологии, основанной на обновленной марксистской историософии и радикальной критике опыта своего недавнего прошлого и настоящего скорее, чем на защите сложившегося статус-кво и его постепенной эволюции в рамках традиции прецедентного права. Реального позитивного опыта, который хочет защитить предполагаемый консерватор в своей стране, в период перестройки фактически не было — речь шла исключительно о чужом или воображаемом опыте в будущем. Как показал в своём классическом исследовании Покок, именно это характе-

1 Эта центральная метафора, среди множества других метафор, связанных с образом выбора людьми своего пути в истории, предложена М. Гефтером, который изучил в равной мере ограничения и допущения собственных идиом. В отличие от большинства своих современников Гефтер был убежден в неспособности людей составить правильную «карту морей» и в неспособности людей отказаться от роли кормчего. «Человечеству следует принять риски исторического плавания и нести ответственность за неизбежные ошибки» [Гефтер, 1991, с. 300-301].

ризует классический консерватизм Бёрка [Pocock, 1975, p. 125–143]. Мы постарались показать, что в целом речь идет не только о «либеральной» экономической доктрине с точки зрения жанра и идеологических установок. Речь скорее об устойчивом и почти не осознаваемом историософском допущении о благотворности истории, общем для влиятельных представителей самых разных политических направлений в период поздней перестройки, унаследованном от позднесоветского марксизма и сциентизма. С другой стороны, мы можем выделить влияние более ранних и современных перестройке текстов Александра Солженицына на критическую консервативную рефлексию над советским историческим опытом, которая неожиданно прочно стыковалась как с представлениями о Западе и «мировой цивилизации», так и с частью марксистских установок и идиом.

С точки зрения господствующих идеологических представлений публицистов и публичных мыслителей, перестройка завершалась своеобразным утопическим консерватизмом. Провиденциальная и оптимистическая телеология пути, а также разочарование в способности людей «делать историю» породили оригинальную историософию, отрицавшую и преднамеренные реформы, и революции на пути естественно-исторической жизни. Способность свободной воли делать историю неразрывно связывалась с представлением о том, что воля людей в истории по своей природе изначально «греховна» или чревата ошибкой. Всемирно-исторический контекст с его глобальными экологическими угрозами и развитым Западом указывал рыночникам и либералам, что естественно-исторический путь подразумевал либеральную рыночную демократию, социалистам-гуманистам обещал социально-демократическую конвергенцию, а русским националистам — защиту русских общинных традиций от западного разложения. К 1991 г. собственный опыт 70 лет советской власти казался столь нехарактерным, искусственным и опасным, что естественный ход истории мог возобновиться только при условии полного, но по возможности мирного отказа от любых политических схем и ограничений.

В качестве заключения мы можем отметить один мудрый и прагматичный аспект этого пессимистичного взгляда на способность воли делать историю, смягченного глубокой утопической уверенностью в благотворности естественно-исторического потока: позднесоветская интеллигенция и политики скорее здраво оценили свою неспособность понять современное им общество и создать новые институты. Поэтому большинство акторов воздерживалось от поддержки агрессивных политических действий, оправдываемых идеологией и опирающихся на силу или оружие. Мы можем рассматривать эту позицию как позицию политического и историче-

ского благоразумия, основанную на двойном осмыслении и ужасов Гулага, и неожиданных для реформаторов и идеологов потрясений перестройки, показавшей, как реформы систематически дают непредсказуемые последствия и лишают инициировавшего их лидера реальной власти и авторитета.

Политически мотивированное насилие, идеологические страсти, проекты радикальных преобразований, взаимные обвинения и противоречия, которые ускоряли и ускорялись распадом устойчивых институтов центральной власти на территории СССР, были смягчены этим трезвым и консервативным по своей природе осознанием. Впрочем, осознание ограниченности маневра не приводило к более трезвой оценке доступных вариантов, но понималось как историософское основание отказа от политической мобилизации. Вместо гипотетической возможности принять переход к рынку как общее дело и обсудить наилучшие варианты советские элиты и образованное сообщество отстранились от вопроса, осознавая свою неспособность обсуждать то, что они могли (но отказывались) видеть. Зимой 1991 г. бурная публичная дискуссия распалась на множество ярких монологов, а ослабленная общественная воля добровольно уступила место лошадям истории, вслепую ищущим путь в пурге[1]. Публичные выступления казались беспомощной подменой поступков, идеология — заведомым насилием над органикой общества, но история считалась естественно благотворной сама по себе. Это утверждение стало последним значительным высказыванием и наследием позднесоветской политической философии, которое нам еще предстоит усвоить.

Библиография

Атнашев А. (2017) Исторический путь, выбор и альтернативы в политической мысли Перестройки около 1988 года. М. Велижев, А. Зорин, Т. Атнашев (сост.), *Понятие "особого пути": от идеологии к методу*, М: НЛО.

Богомолов О. (1989) Меняющийся облик социализма. *Коммунист*, (11).

Бутенко А. (2004) *О скрытых формах изменения социальной природы власти*, М.: Парад.

1 В декабре 1991 г. ряд независимых мыслителей ясно понимали, что лошадьми, влекущими русскую птицу-тройку, были активные и коррумпированные члены номенклатуры, сохранившие иерархию и де факто уже приватизировавшие государственное имущество; но эти мыслители не видели возможности влиять на процесс и ощущали соблазн положиться на естественную благотворность истории. См.: Конец века. После победы. Круглый стол политиков и политологов (1991) *Век XX и Мир*, (12). См. также [Латынина, Латынина, 1992].

Бутенко А. (1997) Октябрь 1917 года и судьбы социализма. *Социально-политический журнал*, (5).

Бутенко А., Кадочникова Т. (1990) Становление социалистического общества и казарменный социализм. *Вопросы философии*, (6).

Казинцев А. (1989) Четыре процента и наш народ. Что становится актуальным. *Наш современник*, (6).

Галкин А. (1990) Общественный прогресс и мобилизационная модель развития. *Коммунист*, (18).

Гефтер М. (1991) *Спор или потасовка. Из тех и этих лет*, М.: Прогресс.

Глушкова Т. (1989) О русскости, о счастье, о свободе. *Наш современник*, (7).

Гуревич А.Я. (1990) Теория формаций и реальность истории. *Вопросы философии*, (11).

Завельский М. (1990) Теневая экономика: враг или друг? *Через тернии, Перестройка: гласность, демократия, социализм.* С. Протащик (сост.), М.: Прогресс.

Келле В.Ж. (1990) Умер ли марксизм? Круглый стол. *Вопросы философии*, (10).

Кива А. (1990) Кризис жанра. *Новый мир*, (3).

Кукса Л. (1989) Общественное сознание: сложные взаимосвязи с практикой. *Коммунист*, (10).

Латынина А. (1990) Солженицын и мы. *Новый мир*, (1).

Латынина А., Латынина Ю. (1992) Время разбирать баррикады. Предварительные итоги XX века. *Новый мир*, (1).

Лисичкин В. (1990) Большой подлог. *Коммунист*, (5).

Лукач Г. (2003) *История и классовое сознание*, М.: Левая карта.

Магун А. (2010) Перестройка как консервативная революция? *Неприкосновенный запас*, (6).

Момджян К.Х. (1990) Умер ли марксизм? Круглый стол. *Вопросы философии*, (10).

Наполова Т. (1990) Преемственность зла. *Наш современник*, (4).

Пихоя Р. (2007) Москва, Кремль, Власть. Две истории одной страны, 1985-2005, М.: АСТ-Астрель.

Проханов А. (1990) Идеология выживания. *Наш современник*, (9).

Симония Н. (1989) Сталинизм против социализма. *Вопросы философии*, (7).

Солженицын А. (1974) А как это могло уложиться. *Русский вопрос на рубеже веков*, Париж: YMCA-press.

Солженицын А. (1995) На возврате дыхания и сознания. *Публицистика*. В 3 т. Т. 1, Ярославль.

Солженицын А. (1990) Как нам обустроить Россию? *Комсомольская правда (специальный выпуск, 18.09).*

Стародубровская И., В. Мау (2001) *Великие революции. От Кромвеля до Путина*, М.: Вагриус.

Старцев В. (1990) Альтернатива. Фантазии и реальность. *Коммунист*, (15).

Травкин Н. (1990) *Литературная газета* (*7.10*).

Ципко А. (1990) Хороши ли наши принципы. *Новый мир*, (4).

Чернышев С. (1990) Новые вехи. *Знамя*, (1).

Шафаревич И. (1989) Две дороги к одному обрыву. *Новый мир*, (7).

Шмелев Н. (1989) Либо сила, либо рубль. *Знамя*, (1).

Яковлев А. (1990) Историческая память обновляющегося общества. Круглый стол. *Коммунист*, (18).

Яковлев А. (1988) *Тезисы к выступлению на Политбюро ЦК КПСС о новом политическом мышлении*. 27.12.1988 // ГА РФ. Ф. 10063. Оп. 1. Д. 190, лист 2.

Ярин В.А. и др. Россия живет хуже, чем работает. *Наш современник*, (2): 6.

Althusser L. (1972) Lénine et la philosophie (suivi de Marx et Lénine devant Hegel), Paris: François Maspero.

Davies R.W. (1997) *Soviet History in the Yeltsin era*, London: St Martin's Press.

Pocock J.G.A. (1975) The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton: University Press.

Zweynert J. (2006) Economic ideas and institutional change: Evidence from soviet economic debates 1987–1991. *Europe-Asia Studies*, 2006, 58 (2).

Wyman M. (1997) *Public opinion in Postcommunist Russia*, Macmillan.

References

Althusser L. (1972) *Lénine et la philosophie* (*suivi de Marx et Lénine devant Hegel*), Paris: François Maspero.

Atnashev A. (2017) Istoricheskii put', vybor i al'ternativy v politicheskoi mysli Perestroiki okolo 1988 goda [Historical path, choice and alternatives in the political thought of Perestroika around 1988]. M. Velizhev, A. Zorin, T. Atnashev (sost.), *Poniatie "osobogo puti": ot ideologii k metodu*, M: NLO.

Bogomolov O. (1989) Meniaiushchiisia oblik sotsializma [Changing face of socialism]. *Kommunist*, (11).

Butenko A. (2004) *O skrytykh formakh izmeneniia sotsial'noi prirody vlasti* [On the covered forms of transformation of the social nature of power], M.: Parad.

Butenko A. (1997) Oktiabr' 1917 goda i sud'by sotsializma. [October 1917 and fate of socialism] *Sotsial'no-politicheskii zhurnal*, (5).

Butenko A., Kadochnikova T. (1990) Stanovlenie sotsialisticheskogo obshchestva i kazarmennyi sotsializm. [Becoming of the socialist society and socialism of baraks] *Voprosy filosofii*, (6).

Davies R.W. (1997) *Soviet History in the Yeltsin era*, London: St Martin's Press.

Galkin A. (1990) Obshchestvennyi progress i mobilizatsionnaia model' razvitiia. [Social progress and mobilizational model of development] *Kommunist*, (18).

Gefter M. (1991) Spor ili potasovka. [Discussion or a fight] // *Iz tekh i etikh let*, M.: Progress.

Glushkova T. (1989) O russkosti, o schast'e, o svobode. [On the Russianness, on happiness and freedom] *Nash sovremennik*, (7).

Gurevich A.Ia. (1990) Teoriia formatsii i real'nost' istorii. [Theory of formations and the reality of history] *Voprosy filosofii*, (11).

Zavel'skii M. (1990) Tenevaia ekonomika: vrag ili drug? [Shadow economy: an enemy of a friend?] // *Cherez ternii,* Perestroika: glasnost', demokratiia, sotsializm. S. Protashchik (sost.), M.: Progress.

Kazintsev A. (1989) Chetyre protsenta i nash narod. Chto stanovitsia aktual'nym [Four percent and our people. What is becoming relevant]. *Nash sovremennik*, (6).

Kelle V.Zh. (1990) Umer li marksizm? Kruglyi stol. [Whither Marxism? A round-table] *Voprosy filosofii*, (10).

Kiva A. (1990) Krizis zhanra. [Crisis of genre] *Novyi mir*, (3).

Kuksa L. (1989) Obshchestvennoe soznanie: slozhnye vzaimosviazi s praktikoi. [Social consciousness: complex connections with the practice] *Kommunist*, (10).

Latynina A. (1990) Solzhenitsyn i my. [Solzhenitsyn and us] *Novyi mir*, (1).

Latynina A., Latynina Iu. (1992) Vremia razbirat' barrikady. Predvaritel'nye itogi KhKh veka. [The time to undo barricades. Preliminary results of the XX century] *Novyi mir*, (1).

Lisichkin V. (1990) Bol'shoi podlog. [A big deception] *Kommunist*, (5).

Lukach G. (2003) *Istoriia i klassovoe soznanie*, [History and a class consciousness] M.: Levaia karta.

Magun A. (2010) Perestroika kak konservativnaia revoliutsiia? [Perestroika as a conservative revolution?] *Neprikosnovennyi zapas*, (6).

Momdzhian K.Kh. (1990) Umer li marksizm? Kruglyi stol. [Whither Marxism? A round-table] *Voprosy filosofii,* (10).

Napolova T. (1990) Preemstvennost' zla. [Tradition of evil] *Nash sovremennik*, (4).

Pikhoia R. (2007) *Moskva, Kreml', Vlast'. Dve istorii odnoi strany, 1985-2005* [Moscow, Kremlin, Power. Two histories of one country, 1985-2005], M.: AST-Astrel'.

Pocock J.G.A. (1975) The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton: University Press.

Prokhanov A. (1990) Ideologiia vyzhivaniia. [Ideology of survival] *Nash sovremennik*, (9).

Simoniia N. (1989) Stalinizm protiv sotsializma. [Stalinism Vs Socialism] *Voprosy filosofii*, (7).

Solzhenitsyn A. (1974) A kak eto moglo ulozhit'sia. [And how could it settle itself?] // *Russkii vopros na rubezhe vekov*, Parizh: YMCA-press.

Solzhenitsyn A. (1995) *Na vozvrate dykhaniia i soznaniia*. [Breathing in air and consciousness] Publitsistika. V 3 t. T. 1, Iaroslavl'.

Solzhenitsyn A. (1990) Kak nam obustroit' Rossiiu? [How can we settle Russia?] *Komsomol'skaia pravda* (spetsial'nyi vypusk, 18.09).

Starodubrovskaia I., V. Mau (2001) *Velikie revoliutsii. Ot Kromvelia do Putina*, [Great revolutions from Kromvell to Putin] M.: Vagrius.